

Владимир Николаевич Захаров

доктор филол. наук, профессор кафедры русской литературы
и журналистики, Петрозаводский государственный университет
(Петрозаводск, пр. Ленина, 33, Российская Федерация)
vnz01@yandex.ru

ПОЛЕМИКА КАК ДИАЛОГ: ДОСТОЕВСКИЙ В СПОРЕ С Л. ТОЛСТЫМ*

Аннотация: Достоевский был писателем, который активно вводил литературную критику в свои романы, адаптировал критические суждения к характерам героев. Тот же принцип романизации критики дан в его «Дневнике Писателя». Достоевский не ограничивался высказыванием своих мнений о чужих произведениях, а создавал «фиктивные лица» критиков, сочинял их диалоги, вел полемику с реальными и фантастическими оппонентами. Романизация литературной критики органична в поэтике «Дневника Писателя».

В «Дневнике Писателя» за июль-август 1877 г. Достоевский спорит с Толстым по поводу восьмой и последней части романа «Анна Каренина», которую отказалась печатать редакция «Русского Вестника» и которая вскоре вышла отдельным изданием. Достоевский высоко оценил литературное значение романа, гениальность его автора, но не принял его политические оценки Русско-турецкой войны. Poleмика Достоевского с Толстым своеобразна: он критикует не автора, а героя. Достоевский принимает христианский пафос Толстого, учительный смысл эпиграфа, но упрекает Левина за то, что тот обособился и отвернулся от «Христовых дела», во имя абстрактных принципов отказывает в сострадании и помощи страдающим христианам. Достоевский задает Толстому риторический вопрос, который придает новый смысл их полемике: чему учит писатель читателей, чему учит литература? Ответ предполагает ответственность, к которой автор «Дневника» призывает автора «Анны Карениной». В финале спора возникает неожиданный эффект: полемика предстает диалогом двух гениев, в котором разногласие вызывает потребность согласия оппонентов перед правдой народа.

Ключевые слова: Достоевский, «Дневник Писателя», Лев Толстой, «Анна Каренина», Русско-турецкая война 1877—1878, полемика, диалог, литературная критика, христианский идеал.

Достоевский был не только гениальным писателем и читателем — он был критиком, полемистом, фельетонистом, политическим обозревателем, редактором, журналистом. Он овладел почти всеми журналистскими жанрами, но его мало увлекали заурядные задачи, во всем он искал *новое слово*, свою оригинальную сущность.

В наследии Достоевского есть литературная критика, но в чистом виде этот жанр представлен лишь в журналистике и иницирован текущими редакционными потребностями «Времени», «Эпохи», еженедельника «Гражданин». Его критика, как правило, анонимна или скрыта под псевдонимами. Достоевский мало ценил свои критические опыты, не собирал и не переиздавал их. В отличие от писателя их ценят исследователи: цитируют, изучают, дорожат каждым словом.

Достоевский охотно включал критику в свои сочинения, наделял своих героев пронизательными суждениями об искусстве и поэзии, адаптировал их к характерам, персонифицировал их полемику. Критика была предметом изображения в его произведениях.

Поэтическая трансформация критики произошла уже в первом романе Достоевского «Бедные люди» — и начался этот процесс с первых строк, с шуточного эпиграфа романа со ссылкой на князя В. Ф. Одоевского:

Ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже; читаешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил (*Д18*, 1; 11)¹.

Бесспорно, это игровая ситуация в тексте: *запретил бы, невольно задумаешься, дребедень лезет в голову...* — и вместе с тем не писать невозможно.

Все литературно-критические эпизоды романа (а это пародия на чтения и сочинения Ратазьева, отзывы Макара Девушкина о «Станционном смотрителе» Пушкина и «Шинели» Гоголя, суждения героев о литературе) исполнены глубокого смысла. Что стоит за профанными суждениями героя, показал С. Г. Бочаров, раскрывший в безыскусных словах героя ключевую коллизию развития русской литературы сороковых годов XIX века (Пушкин или Гоголь) [1].

В творчестве Достоевского литературная критика стала художественной: в серьезном, ироничном и пародийном осмыслении она входит во многие, почти все, сочинения писателя.

О взаимоотношениях Достоевского и Толстого сказано много: кажется, ничто не скрылось от внимания исследователей. И всё же изучено то, *что* сказано, но не осмыслено, как сказано, а это (*как* сказано) имеет принципиальное значение в диалоге Достоевского с Толстым.

«Дневник Писателя» за июль-август 1877 г. начинается глубоко личными откровениями автора: разговором с московским знакомым, «святыми воспоминаниями» детства, которые раскрываются под знаком «Детства и Отрочества», «Войны и Мира» Л. Толстого, предстают в контексте личных переживаний автора «Дневника Писателя». 19 июля 1877 г. проездом из Москвы Достоевский отправился в Даровое, по его признанию, «места первого моего детства и отрочества — деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц» (Д18, 12; 157).

Даровое — не случайная завязка темы номера:

Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но всё никак не мог, несмотря на то что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где всё полно для меня самыми дорогими воспоминаниями (Д18, 12; 157).

Достоевский проникновенно объясняет читателю, что значит «память детства» в жизни каждого человека:

Что святыне воспоминания будут и у нынешних детей, сомнения конечно быть не может, иначе прекратилась бы живая жизнь. Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной по-видимому о том и не думает, а всё-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек и вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой необходимости склонен отмечать как бы точки в своем прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем, и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания

почти всегда те, которые остаются из детства. А потому и сомнения нет, что воспоминания и впечатления, и, может быть, самые сильные и святые, унесутся и нынешними детьми в жизнь. Но что именно будет в этих воспоминаниях, что именно унесут они с собою в жизнь, как именно сформируется для них этот дорогой запас — всё это конечно и любопытный и серьезный вопрос. Если бы можно было хоть сколько-нибудь предугадать на него ответ, то можно бы было утолить много современных тревожных сомнений, и, может быть многие бы радостно уверовали в русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько-нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но беда в том, что никогда еще не было эпохи в нашей русской жизни, которая столь менее представляла бы данных для предчувствования и предузнания всегда загадочного нашего будущего, как теперешняя эпоха. Да и никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более не рассортировано и не оформлено, как теперь (Д18, 12; 157—158).

Говоря о Даровом, Достоевский вспоминает Толстого, его Ясную Поляну, памятные места, описанные в «Детстве и Отрочестве». Его волнует, что останется в памяти современных детей:

Где вы найдете теперь такие «Детства и Отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам свою эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и Мире» его же? Все эти поэмы теперь *не более лишь как исторические картины давно прошедшего*. О, я вовсе не желаю сказать, что это были такие прекрасные картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время, и совсем не про то говорю. Я говорю лишь об их *характере*, о законченности, точности и определенности их характера, — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится всё более и более *случайным* семейством. Именно *случайное семейство* — вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый... в силах ли она будет создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик?

Иные, и столь серьезные даже люди, говорят прямо, что русского семейства теперь «вовсе нет». Разумеется всё это говорится лишь о русском интеллигентном семействе, т<о> е<сть>, высших сословий, не народном. Но, однако, народное-то семейство, — разве теперь оно не вопрос тоже? (Д18, 12; 158).

Прежде было родовое семейство, крестьянское и дворянское, «ныне» — «случайное семейство».

Обозначив вопросы времени, ставшие перед народом в пореформенной России, Достоевский задает ключевой вопрос, своего рода вопрос вопросов:

...кто ответит на эти вопросы народу? Кто готов у нас отвечать на них, и кто первый выищется, кто ждет уже и готовится? (Д18, 12; 158).

Претенденты на статус учителей и помощников несостоятельны:

Духовенство всего ближе стоит к народу, Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих, и увы, весьма кажется немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них (Д18, 12; 158—159).

Скептичен Достоевский и в оценке способностей сельских учителей:

...к чему годятся и к чему готовы наши сельские учителя? Что представила до сих пор эта, лишь начинающаяся впрочем, но столь важная по значению в будущем, новая корпорация, и на что она в состоянии ответить? На это лучше не отвечать (Д18, 12; 159).

В обществе преобладают случайные ответы, хаос в умах и настроениях, но есть надежда, что «и без ответчиков и при ответчиках» Россия найдет выход из кризиса.

Риторический вопрос, кто ответит на «страшные» и «неслыханные» вопросы, трансформируется в новый вопрос: кто верит в Россию и понимает ее назначение?

Могуча Русь и не то еще выносила. Да и не таково назначение и цель ее, чтоб зря повернулась она с вековой своей дороги, да

и размеры ее не те. Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она всё решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей такую же прежнюю, святою нашей Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто верит в Русь, тому даже стыдно это. Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно (особенно теперь, в нашу эпоху, в теперешнюю минуту главное), что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений. «Здесь терпение и вера святых», как говорится в священной книге (Д18, 12; 159).

Указание на «священную книгу» знаменательно и не случайно, о чем речь впереди. В таком контексте возникает полемика Достоевского с Толстым,

...несмотря, — как признается автор, — на всё мое отвращение пускаться в критику современных мне литераторов и их произведений (Д18, 12; 160).

В то утро, когда автор нанес визит «московскому знакомому», в котором исследователи не без оснований узнают И. С. Аксакова, он впервые прочитал в газетах объявление о выходе отдельным изданием восьмой и последней части «Анны Карениной», отвергнутой редакцией «Русского Вестника»

...за разногласие ее с направлением журнала и убеждениями редакторов, и именно по поводу взгляда автора на Восточный вопрос и прошлогоднюю войну (Д18, 12; 159).

Эту книгу автор «Дневника» «немедленно положил купить и, прощаясь с моим собеседником, спросил его о ней, зная что ему давно уже известно ее содержание» (Там же).

Московский знакомый нашел ее «самой невиннейшей вещью», Достоевский по прочтении — вовсе не столь «невинною» (Д18, 12; 160).

О чем, собственно, возник спор?

Обозревая современную смуту и кризис в обществе, Достоевский исходит из того, что состояние России при-
скорбно:

Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить прекрасное в воспоминаниях детей, — и даже как:

несмотря даже на самую лютую обстановку их детства, бедность и, даже самую нравственную грязь, окружавшую их колыбели! (Д18, 12; 164).

Писатель возвращается к своей прежней художественной идее, уже исполненной в романе «Подросток», — к идее случайности русского семейства. Причину кризиса современного семейства писатель видит в том, что современные отцы утратили идеал, ввергли себя и детей в хаос, нравственный беспорядок.

Поездка в Даровое напомнила ему грустную судьбу овдовевшего отца, утвердила его в чувстве сыновьей признательности:

О, есть такие случаи, что даже самый падший из отцов, но еще сохранивший в душе своей хотя бы только отдаленный прежний образ великой мысли и великой веры в нее, мог и успевал пересажать в восприимчивые и жаждущие души своих жалких детей это семя великой мысли и великого чувства, и был прощен потом своими детьми всем сердцем за одно это благодеяние, несмотря ни на что остальное. Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь (Д18, 12; 164).

Достоевский знал исход из беспорядка и способ исцеления современного общества и семейства: *восстановить идеал, воскресить воспоминания детства, осознать положительное и прекрасное.*

В жизни, к сожалению, совсем не так. Автора «Дневника» тревожат другие примеры: родители из заботы о будущем детей преподают им уроки цинизма, атеизма и безнравственности, современных родителей судят за жестокое обращение с детьми («Дело родителей Джунковских с родными детьми»). Присяжные оправдали нерадивых родителей. В назидание им Достоевский сочинил «Фантастическую речь председателя суда». Вот ее финал, в котором он раскрыл спасительный смысл прощения:

Итак да поможет вам Бог в решении вашем исправить ваш не успех. Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших.

Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Да и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не любить. Да и как не любить их? Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станется тогда с нами самими? Вспомните тоже, что, лишь для детей и для их золотых головок, Спаситель наш обещал нам «сократить времена и сроки». Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся наконец страдания и недоумения цивилизации нашей! (Д18, 12; 175).

В таком тоне, высказав самые заветные убеждения, автор «Дневника Писателя» начинает спор с автором «Анны Карениной». Его поразило, как он пишет, «отпадение такого автора, отъединение его от русского всеобщего и великого дела, и парадоксальная неправда, возведенная им на народ в его несчастной восьмой части, изданной им отдельно» (Д18, 12; 183).

Полемика своеобразна: оспаривая Толстого, Достоевский спорит с его героем. Отмечая близость взглядов автора и героя, Достоевский их различает:

...лицо самого Левина, так как изобразил его автор, я всё же с лицом самого автора отнюдь не смешиваю (Д18, 12; 176).

Достоевский вдохновлен толстовским Левиным, который хоть не совершенен, но честен в поиске ответов на «вековечные вопросы человечества» «о Боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч.», о «вере и неверии» (Д18, 12; 184), страдает от того, что не верующий, что «всё еще не совершенен, всё еще чего-то недостает ему, и этим надо было заняться и разрешить» (Д18, 12; 184). Он «не может успокоиться на том, на чем все успокоиваются, т<о> е<сть> на интересе, на обожании собственной личности или собственных идолов, на самолюбии и проч<ем>. Признак великодушия, не правда ли?» (Д18, 12; 184).

Герой симпатичен, наконец, тем, как в сомнениях он обретает, наконец, мужицкую правду и сознает народную веру:

жить для души, помнить Бога, жить по правде, по-Божью, избирает путь добра.

Казалось бы, что может быть праведнее? выше? честнее?

О чем же тогда спор Достоевского с Толстым и его героем? Поначалу и спора как такового нет.

Литературное значение романа огромно. Достоевский дает оценку художественных достоинств романа. Для одного «из любимейших наших писателей», под которым он явно имеет в виду А. И. Гончарова, это «первая вещь» во всех европейских литературах последних лет. Для Достоевского роман Толстого — факт мирового значения, бесспорное свидетельство не только нашей способности сказать «свое собственное слово», но и готовности «договорить его», когда «придут времена и сроки», когда в мировой истории исполнится Евангельское пророчество и Откровение о Втором Пришествии.

Такова безусловная оценка художественного уровня романа.

Духовный смысл романа задан евангельским эпиграфом: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Эпиграф выражает авторский взгляд на «виновность и преступность человеческую».

В Европе этот вопрос решается «повсеместно двояким образом». Первое решение — безоговорочное исполнение закона, который «дан, написан, формулирован, составлялся тысячелетиями»; кто преступает закон, «тот платит свободой, имуществом, жизнью, платит буквально и бесчеловечно» (Д18, 12; 182). Другое решение: «преступник безответствен, и преступления пока не существует»; «ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью» (Д18, 12; 182).

Иная точка зрения у «русского автора», которая выражена «в огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиной и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения»:

...нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей *окончательных*, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение и Аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли еще времена

и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что, он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью *если* сам он держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви (Д18, 12; 182—183).

В романе Толстого исход есть:

Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа еще в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев всё простивших друг другу, в существа которые сами, взаимным всепрощением сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием что получили право на то» (Д18, 12; 183).

Что выше евангельских истин?

Достоевский принимает откровение художественной правды Толстого, оттого так остро реагирует на его «парадоксальную неправду».

«Несмотря на очевидность», Толстой отрицает патриотический подъем и христианское самопожертвование народа, его готовность заступиться за братьев-славян:

Он просто отнимает у народа всё его драгоценнейшее, лишает его главного смысла его жизни (Д18, 12; 183).

Автор «Дневника» не принимает политическое значение романа Толстого.

По Достоевскому, объявление Россией войны за освобождение славян от турецкого ига — факт огромного значения: подвиг России бескорыстен и велик, цель войны невероятна:

Эта неслыханная война, за слабых и угнетенных, для того чтоб дать жизнь и свободу, а не отнять их, — эта давно уже теперь неслыханная в мире цель войны, для всех наших верующих явилась вдруг, как факт, торжественно и знаменательно подтверждавший веру их (Д18, 12; 178).

В движении в пользу славян Достоевский видел «русское, национальное, настоящее наше», указание на «*всемирность* России»:

...весь народ, сочувствуя угнетенным христианам, совершенно знал, что он прав (Д18, 12; 192).

Толстовского Левина Достоевский назвал «парадоксалистом». Парадоксалист — излюбленный литературный тип Достоевского, но писатель категорически отверг однозначное решение героем «восточного вопроса».

Автор «Дневника» уязвлен:

«чистый сердцем Левин» ударился в обособление и разошелся с огромным большинством русских людей (Д18, 12; 176).

Обсуждая вопрос, убить или не убить турку, убивающего ребенка, Достоевский осуждает Левина, который в соответствии со своими убеждениями «должен» сказать и поступить:

Нет, нельзя убить турку. Нет уж пусть он лучше выколет глазки ребенку и замучает его, а я уйду к Кити (Д18, 12; 199).

К слову сказать, к этой полемике Достоевский вернулся в романе «Братья Карамазовы». Иван провоцирует Алешу рассказом о злодеяниях турок, убивающих детей, спрашивает, расстрелять или нет генерала, затравившего озорника борзыми собаками.

Алеша отвечает: «Расстрелять!», — и ловит себя на слове, оговаривается:

— Я сказал нелепость, но...

— То-то и есть что но... — кричал Иван. — Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит и без них может-быть в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем что знаем! (Д18, 13; 201).

Императив братьев Карамазовых — расстрелять «для удовлетворения нравственного чувства», и вместе с тем неизбежно сомнение («но...»).

Так и в «Дневнике Писателя».

Достоевский опровергает мнимое противоречие евангельской заповеди и человеческого закона в суждениях героя:

Ведь у Левина у самого есть ребенок, мальчик, ведь он же любит его, ведь когда моют в ванне этого ребенка так ведь это в доме вроде события; как же не искровенить ему сердце свое слушая и читая об избиениях массаами, об детях с проломленными головами, пол-

зающих около изнасилованных своих матерей, убитых, с вырезанными грудями. Так было в одной болгарской церкви, где нашли двести таких трупов, после разграбления города (Д18, 12; 201).

По Достоевскому, этого нельзя допустить:

...чтобы пресечь навсегда злодейство, надо освободить угнетенных накрепко, а у тиранов вырвать оружие раз навсегда (Д18, 12; 200).

Мщение исключено — Достоевский призывает и к злодеям проявить милосердие:

Осмелюсь выразить даже мое личное мнение, что к репрессалиям против турок, уличенных в убийстве пленных и раненых, лучше бы не прибегать. Вряд ли это уменьшило бы их жестокости. Говорят они и теперь, когда их берут в плен, смотрят испуганно и недоверчиво, *твердо убежденные* что им сейчас станут отрезать головы. Пусть уже лучше великодушное и человеколюбивое ведение этой войны русскими не омрачится репрессалиями (Д18, 12; 200).

Достоевский был заядлым полемистом, в полемике не щадил оппонентов. Его полемика с Толстым не в пример учтива и уважительна. Отдавая должное гению, Достоевский не принял Левина, отверг заблуждения автора.

Спор Достоевского с Толстым имел религиозную подоплеку. Возражая Толстому и его герою, автор «Дневника» считал, что, не зная истории и географии, необразованный народ понимает страдания восточных христиан, сочувствует и сострадает им; не зная катехизиса, предан Православию, любит Христа.

Обнаруживая парадоксальную неправду убеждений автора и героя, Достоевский «исправил» роман Толстого. Он сочинил сцены и реплики героя, раскрыл противоречивую логику его характера, тактично предложил иное завершение сюжета.

Достоевский упрекал Левина в том, что тот отвернулся от «Христового дела».

Изумившись, как бесчувственно к народному движению Левин «закончил свою эпопею», Достоевский обращается к Толстому не как оппоненту, а как к соратнику и единомышленнику:

Его ли хочет выставить нам автор как пример правдивого и честного человека? Такие люди, как автор Анны Карениной — суть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики их. Чему ж они нас учат? (*Д18*, 12; 201).

Для каждого из авторов ответ на этот вопрос — их личная и творческая судьба, общая в русской словесности.

Романизация литературной критики органична в поэтике «Дневника Писателя».

Примечания

- * Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012—2016 гг.
- ¹ Сочинения Достоевского цитируются в тексте статьи с указанием условных обозначений, тома и страницы по изданию:
Д18 — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: В 18 т. М., 2003—2005. Т. 1—18.

Список литературы

1. Бочаров С. Г. Пушкин и Гоголь («Станционный смотритель» и «Шинель») // Проблемы типологии русского реализма. М., 1969. С. 210—240.

Vladimir Nikolaevich Zakharov

Ph.D., Professor of
Petrozavodsk State University
(Prospekt Lenina, 33, Petrozavodsk, Russian Federation)
vnz01@yandex.ru

THE POLEMICS AS A DIALOGUE: DOSTOEVSKY IN A CONTROVERSY WITH TOLSTOY

Abstract: Dostoevsky was a writer, who was actively introducing literary criticism into his novels, adapting critical comments to the natures of the characters. The same principle of the novelization of criticism was used in his *Diary of a Writer*. Dostoevsky was going beyond expressing his opinions about other people's works, and was developing "fictitious persons" of critics, composing their dialogues, carrying on polemics with real and fantastic opponents. The novelization of literary criticism is natural in the poetics of the *Diary of a Writer*.

In the *Diary of a Writer* for July-August 1877 Dostoevsky argues with Tolstoy about the eighth and the last part of the novel *Anna Karenina*, which

the editors of *The Russian Messenger* refused to print and which was soon issued as a separate edition. Dostoevsky highly appreciated the literary value of the novel, the genius of its author, but did not accept his political assessments of the Russo-Turkish war. His polemic with Tolstoy is original: he levels criticism not at the author, but at the hero. Dostoevsky takes in the Christian pathos of Tolstoy, the didactic sense of the epigraph, but blames Levin for that the character has isolated himself and turned away from Christ as well as that he is withholding compassion and help to suffering Christians in the name of abstract principles. Dostoevsky asks Tolstoy a rhetorical question, which gives a new meaning to their polemic: what does the writer teach the readers? what does literature teach? The answer implies responsibility, which the author of the *Diary* calls the author of *Anna Karenina* to. In the final dispute an unexpected effect arises: the polemic appears as a dialogue of two geniuses, in which the disagreement drives the need in the consent of the opponents before the truth of the people.

Keywords: Dostoevsky, the *Diary of a Writer*, Leo Tolstoy, *Anna Karenina*, the Russo-Turkish war of 1877—1878, polemic, dialogue, literary criticism, Christian ideal.

References

1. Bocharov S. G. Pushkin and Gogol ("The Stationmaster" and "The Overcoat") [Pushkin i Gogol ("Stantsionny smotritel" i "Shinel")]. *Problems of Typology of Russian Realism* [Problemy typologyy russkogo realisma]. Moscow, 1969, pp. 210—240.